

**Б.М.ФИРСОВ, д.филос.н., директор Санкт-Петербургского  
филиала Института социологии РАН**

Советская социология, согласно официальной версии, получила право на жизнь в качестве помощника партии. Но поскольку профессиональные социологи не отличались диссидентскими выходками, постольку им было разрешено собраться под крышей АН СССР. Едва партийно-государственный аппарат увидел в социологическом знании, в носителях этого знания потенциальных

субъектов инакомыслия, как немедленно был усилен контроль за программами и результатами социологических исследований. При этом партия, боясь ослабить господство идеологии, конечно, допустила просчет, потому что отказалась от возможности располагать знанием о фактическом положении дел в стране. И особенно это чувствовалось тогда, когда возник едва ли не панический страх, что «Пражская весна» получит прописку на советской территории.

Можно сказать, что социология 60-х годов по своему духу была демократической, что многие публикации социологов действительно содержали серьезное критическое начало. Но парадоксально, что для этого не требовалось демонстрировать инакомыслие: все то, что говорила или пыталась сказать социология, попадало на благодатную почву, так как в 60-е годы увеличилось число людей, стремящихся к самопознанию, к изучению общества. И поэтому, поскольку социология предлагала новый язык для описания социальной жизни, она обозначала проблемы вопреки официальной доктрине беспроblemности существования тогдашнего советского общества. Она уже этим обеспечивала себе аудиторию, способную ее слышать и понимать.

Вместе с тем, и в этом пафос моего выступления, социология не была оппозиционной наукой. Она активно соучаствовала в строительстве «зрелого социализма». Парадокс состоит в том, что полученное, казалось, строгими, выверенными методами, знание быстро утрачивало свою обоснованность, оно разрушалось и превращалось в социальную иллюзию всякий раз, когда социологи пытались предлагать выводы, опираясь на категорические императивы должного. Не сразу, и не тогда, не тридцать лет назад, а только недавно стал понятен вред этой благонамеренности, пронизанной мечтами о близком счастливом будущем. Важно, что с большей или меньшей старательностью мечтанию предавались едва ли не все обществоведы – и социология в этом смысле не составляла исключения.

Я сделаю первый вывод, он состоит в следующем: при активном содействии, соучастии общественных наук в массовое сознание того времени волей или неволей, но вносилась искаженная, а если не искаженная, то неполная картина мира и человека, которая обладала свойствами транквилизатора. Было бы неправдой говорить сейчас о том, что эта картина была лишена привлекательности; хотя надежды на лучшее будущее, которые были лейтмотивами многих социологических исследований, как правило, не сбывались. Более того, по прошествии сравнительно короткого времени эти надежды начинали расходиться с реальностью. Общество, правда, догадывалось, что к нему пытаются приложить искусственные, принудительные модели, и, чувствуя некое коварство со стороны социальных исследователей, уходило в свою сторону. Поэтому, не умаляя истинных заслуг социологов 60-х и последующих годов, я кратко обозначу два – к сожалению, еще не отмоленных – греха социологии того времени.

Грех первый – это ослепление образом государства. Гипноз и слабование обществуведческой мысли можно считать доказанным фактом в целом ряде существенных проявлений. А второй грех – это примирение с социальным порядком; большинство социологов не опускались до уровня превентивной идеологической манипуляции, но все-таки компромисс оказывался вынужденным и неизбежным.

Теперь самое главное. Едва власть поняла, что социологическая наука может заявить себя серьезным оппонентом, как вступили в действие мощные механизмы контроля и регулирования профессиональной деятельности. Самым мощным механизмом искажения и разрушения позитивного знания, добываемого трудолюбивыми учеными-социологами, был механизм государственной и идеологической цензуры. Заслуживает здесь хотя бы краткого упоминания так называемый перечень сведений, запрещенных для публикаций в открытой печати. Его главным назначением в период стагнации была не столько попытка сохранять великие тайны и секреты государства, сколько заботиться о его фасаде.

В несколько приемов благодаря этим замечательным изданиям была закрыта вся социальная статистика, быстро стало расти число табуированных тем, об этом сегодня еще будут говорить. Были закрыты, например, данные о половозрастной структуре переписей населения. В моей памяти сохранилось объяснение одного цензора, который сказал, что половозрастная структура потому охраняется, что потенциальный противник, располагая этими данными, может легко рассчитать мобилизационную готовность нашей страны на случай нападения агрессора. Абсурдность этих вещей не требует доказательств.

Все общество было пронизано цензурными отношениями формального и неформального характера. Ссылаясь на одну любопытную работу режиссера Алексея Симонова, который возглавляет Фонд защиты гласности, я докажу многоликость цензуры применительно к социологии.

Первый вид цензуры, помимо Главлита – это цензура начальника, в нашем случае – директора социологического института. К чести многих директоров социологических институтов, они выполняли цензорские обязанности поневоле, подчиняясь некоторым условиям игры: директор был обязан принимать меры по защите идеологии. Но в тех случаях, когда к подобного рода обязанностям примешивались еще и личные, эгоистические или карьеристские мотивы, то дело выглядело едва ли не трагическим. Я не берусь судить о бывшем директоре ИСЭПа И.И.Сигове как экономисте, это не моя обязанность, но социолог он был никакой. И, тем не менее, это не мешало ему навязывать свои ограниченные представления об обществе под предлогом борьбы за марксистскую философию.

Второй вид цензуры – корпоративная цензура, или, как ее называет Симонов – инстинкт стаи. Это позиция ученого совета академического института.

Третий вид – издательская цензура научного журнала. Она была известна всем профессиональным социологам и легко поддавалась расшифровке, но не считаться с ней было нельзя. И потому издательские портфели «Науки» и журналов – не будем их обвинять – не содержали слишком рискованных предложений. Недовольные этой политикой имели другие возможности: они могли обходить острые углы, обращаться к буржуазной социологии, прибегать к иносказаниям и метафорам, к неконтролируемому подтексту (специфический термин 70-х годов).

Четвертым видом цензуры была самоцензура. Царское самодержавие и самовластие большевиков приучили целые поколения российских интеллигентов к эзопову языку, к латентной коммуникации. В основе такого вида самоцензуры лежало не только стремление избежать прямых выпадов в адрес власти, но и сохранить объективное знание, сохранить свою позицию и независимость.

Есть еще один вид самоцензуры, который, хотя он и имеет глубокие исторические корни, тем не менее, окрашен в типично советские цвета. Я бы назвал его научным доношением. Едва ли не в каждом академическом институте находились люди, отличавшиеся повышенной идеологической бдительностью, особым нюхом на крамолу. Как правило, это были малообразованные и тощие умом люди, примитивно мыслящие идеологическими штампами.

Говоря о цензуре, – и это имеет прямое отношение к науке, – нельзя забыть об ограничении доступа к зарубежной научной литературе. Легендарные спецхраны с особой тщательной маркировкой поступавшей по почте литературы – все это не забыто. В Ленинграде одно время существовал небольшой «кооператив», основанный Коном и Ядовым, куда позвали и меня. Мы как добросовестные граждане покупали советские книжки, посылали их за рубеж и в обмен получали согласованное количество американской научной литературы. Казалось бы, о чем говорить? Есть о чем. Во-первых, для того, чтобы вступить в этот обмен, нужно было получить разрешение. Во-вторых, мы давали право цензору изымать и лишать нас той литературы, которую цензор будет расценивать как литературу «ограниченного пользования». Никто никогда не знал «священных правил» отнесения литературы к литературе ограниченного пользования, тем более литературе полностью запрещенной в нашей стране. Мы могли только догадываться; достаточно, скажем, было появиться в журнале имени Солженицына, как он мигом изымался из обращения.

Правда, абсурдность этих правил хорошо и четко понимали сотрудники Библиотеки Академии наук, куда отправлялись наши книги. В редких случаях они все-таки разрешали изъять несколько опасных страниц и унести эту книгу домой. В начале 70-х годов я получил прекрасный том по массовой коммуникации, вместе с цензором вырезал статью о китайской доктрине коммунистической пропаганды – и этой ценой получил право прочесть остальные страницы книги дома. Мне кажется, что из подобных экспонатов, когда мы сами вырезали то, что относилось к запретному, можно было бы составить специальную экспозицию по социологии 60-х годов.

Еще один стенд воображаемого музея я бы отвел активистам органов цензуры. При разгонах отдельных научных сообществ официальная цензура и партия опирались на услуги научных сотрудников, как правило, придерживавшихся консервативных позиций. Отрицательное мнение, содержащееся в такой рецензии, тем более с обвинениями в том, что есть отступления от канонов марксизма, часто было сведением счетов с оппонентом по профессии. Я хотел бы подчеркнуть здесь добровольный характер этого рода деятельности; а также то, что доброхоты, порочащие товарищей по профессии, еще живы и по-прежнему работают. Эти волонтеры идеологической инквизиции, – я долго придумывал, как их назвать сегодня, – эти волонтеры идеологической инквизиции нанесли немалый вред своими «разоблачениями».

И теперь, когда Россию пытаются представить, как империю зла, а русских в качестве основных носителей этого зла, я обязан сказать, что инквизиция была многонациональной, она не была чисто русским явлением. Например, разгром социологической лаборатории университета в Тарту, руководимой нашим уважаемым другом и коллегой Юло Вооглайдом, произошел во многом по инициативе эстонских социологов.

Обобщая, можно сказать, что цензура и самоцензура были лишь частью машины политического и идеологического контроля. Ибо было важно добиться социальной благонадежности социологии и социологов. С этой целью партия вмешивалась в подготовку и подбор профессиональных социологических кадров, доводя до абсурда вмешательство в этот процесс. Ленинградский обком КПСС (отдел науки) утверждал старших научных сотрудников, что касается докторских диссертаций, то кандидаты в будущие доктора наук по социологии – тщательно согласовывались с отделом науки при ЦК КПСС. Выделение партийной социологии в относительно автономную сферу отрицательно сказалось на развитии социологического мышления; потому что в этом случае социологию принудительно изолировали от служения интересам более широким, чем интересы партии. Спектр исследований начал постепенно сворачиваться, к тому же партийные органы ревностно охраняли результаты исследований, выполненных по их заказу. По опыту работы в качестве руководителя закрытой системы изучения общественного мнения, которым я был в течение нескольких лет, могу сказать, что результаты этих исследований никто никогда не видел, никто никогда не читал, кроме авторов, потому что они не только могли народу сказать правду о его отношении к жизни, но они могли разрушить картину, «исказить» образ города как колыбели пролетарской революции, города технического прогресса.

Нельзя не вспомнить славные органы государственной безопасности. Их участие в контроле за этой социологической наукой внесло серьезный вклад в систему нелегитимной, подчеркиваю, нелегитимной системы наказания и поощрения

социологов, которая, конечно, как я думаю, никогда не опиралась на закон. С помощью комитета ГБ социологи были довольно быстро поделены на «выездных» и «невыездных», послушных и непослушных. Этими мерами часть ученых была принудительно отлучена от научного опыта других стран, от обмена научными идеями и т.д. На языке Комитета государственной безопасности подобные меры назывались профилактическими – это тоже терминология 60-х – 70-х годов. Но их придумывали лишь для того, чтобы не всякий мог вырваться из «резервации» советской социологии во внешний мир. Опасность оказаться в числе «невыездных», пишение доверия органов государственной безопасности, ограниченный допуск к научной литературе и т.д. – эти меры побуждали ученых поддерживать с властью и ее подручными лояльные отношения и не выходить за опасную черту.

Но не это самое важное и самое существенное в функциях КГБ. Органы государственной безопасности вели сложные игры с членами социологического сообщества и не раз и не одному человеку предлагали стать осведомителями. Не надо думать, что профессия социолога, социального критика содержала гарантии от соблазна принять такое предложение. Осведомители были и часто на благородной основе. Я не предлагаю начинать поиск агентов или публиковать разоблачительные документы, я просто вам расскажу простой, как, правда, пример.

Нас было четверо, участников международного социологического конгресса в одной зарубежной стране. Мы жили вместе, занимая комнату в отеле. Трое из нас вели по вечерам обсуждения проблем советского общества, не редактируя мысли и не призывая к свержению социалистического строя. Четвертый, кстати, член-корреспондент Академии одной братской республики, хранил молчание, но никакого недовольства прямо или косвенно нам не высказывал. После конгресса четверо вернулись домой, прошла неделя-другая, и трое разговорчивых узнали, что четвертый – молчаливый – в письменной форме немедленно после прибытия в Москву, поделился мыслями, высказанными коллегами, с представителями центрального аппарата Комитета государственной безопасности.

Мы не имеем права не рассказать новым поколениям социологов об абсурдных сторонах существования социологии в условиях стагнации. Еще раз хочу сказать, что науку социологию в этих условиях пытались сделать официальной: отсюда противоречивость существования внутри этой государственной, если так можно выразиться, научной дисциплины. В первую очередь, оказалось невостребованным знание, которое социологи производили. Одновременно оказались невостребованы таланты и люди, носители этих талантов, которые считали, что страна и ее великий народ заслуживают лучшей исторической участи.

Попытки придать социологии официальный характер привели к тому, что в материалах социологических исследований все время проступали черты общества, которого в реальности не было. Картина жизни оставалась неполной, потому что наука утратила свою независимость.

К сохранению этой независимости я и хотел бы призвать вас своим выступлением. Спасибо.